

СЕМНАДЦАТЫЙ ОБЛИК

Р О М А Н



ШАХЗОДА ГАНИЕВА

18+

Шахзода Ганиева

Семнадцать обликов

«Автор»

2026

Ганиева Ш.

Семнадцать обликов / Ш. Ганиева — «Автор», 2026

Есть одиночество, о котором неловко говорить вслух. У Халида есть всё, что положено называть благополучием: работа, дом, здоровье, семья, которая его любит. И всё же по вечерам он ловит себя на мысли: если бы меня не стало, ничего в мире не изменилось бы. Он давно решил, что не имеет права хотеть большего. Что просить — значит быть неблагодарным. Что тихо нести свою пустоту — и есть взрослость. А потом, впервые за много лет, он всё же произносит молитву — не о счастье, а о том единственном, ради чего хотелось бы снова просыпаться по утрам. Он не ждёт ответа. Но ответ приходит — тихо, почти незаметно, в лицах случайных людей, которые появляются в его жизни один за другим, ничего не объясняя и не задерживаясь надолго. «Семнадцатый облик» — роман о молитве, которую страшно произнести вслух. О праве хотеть, надеяться и просить — даже когда кажется, что просить больше не о чем.

© Ганиева Ш., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Пролог	6
Глава 1	7
Глава 2	9
Глава 3	17
Глава 4	19
Глава 5	23
Глава 6	25
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Шахзода Ганиева

Семнадцать обликов

Глава

Семнадцать обликов

роман

Шахзода Ганиева

Пролог

Молитва запоздала почти на час — заказ в типографии сорвался, пришлось переделывать тираж заново. Когда Халид вышел на улицу, в окнах соседей одно за другим гасли огни.

Дома он расстелил коврик в углу, между шкафом и окном, и произнёс слова, которые знал наизусть, только медленнее обычного. Закончив, не поднялся сразу — сидел, глядя в пол, а потом сказал уже своими словами:

— Дай мне то, ради чего мне хотелось бы жить. Я не знаю, о чём Тебя просить. Если попрошу большего, это будет неблагодарностью. У меня есть еда, крыша над головой и здоровье. Но я не знаю, зачем я нужен этому миру и кому я нужен. Дай мне причину двигаться дальше.

Об одиночестве он не упомянул. Однажды, много лет назад, он уже просил об этом — не о том, чтобы кто-то появился рядом, а о том, чтобы память об одной женщине перестала его мучить. Тогда ему казалось, что это и есть мудрость. Сейчас он просто боялся просить больше сказанного.

Часы на запястье, отцовские, показывали без четверти двенадцать. Халид лёг и уснул, не зная, что впервые за долгие годы сказал что-то настоящее.

У Того, к Кому обращена искренняя мольба, не бывает недостатка ни в чём — ни во времени, ни в путях, которыми приходит ответ. Немногие решаются просить о том, что болит сильнее всего; Халид и не решился до конца. Но того, что он всё же сказал, оказалось достаточно.

Той ночью, пока он спал, что-то сдвинулось в порядке вещей, недоступном человеческому глазу. Лёгкой жизни ему не обещали. Обещали причину — вернее, много небольших причин, которые предстояло научиться замечать самому.

Для этого нужен был не один человек, а один, кто умел становиться многими. У него не было своего лица — только те лица, которых требовала очередная дверь. Уходил он быстро, и вопрос «кто это был» приходил в голову слишком поздно — когда автобус уже отъезжал, а дверь уже закрывалась.

Дверей ему отмерили семнадцать.

И тогда имя Халида было отдано тому, кто умел приходить незамеченным.

Глава 1

Резак в типографии включали в восемь пятнадцать — не раньше, потому что раньше приходил только Халид, а резак без него никто не трогал. Он щёлкал выключателем, ждал, пока загорится зелёная лампа готовности, и в этот момент, каждое утро одинаково, чувствовал нечто вроде облегчения. Машина заработала. День начался. Дальше можно было не думать.

Типография называлась «Формат» — вывеску придумывал ещё прежний хозяин, человек, которого Халид никогда не видел, только слышал про него от Хюсейна, нынешнего начальника, обычно в связи с тем, что «при старом хозяине такого бардака не было». Мастерская стояла в двух шагах от старого города, за поворотом от венецианских стен, и по утрам в открытую дверь иногда залетал запах моря, смешанный с гарью от жаровен на соседней улице, где пекли симит.

Работа была не тяжёлой. Она была муторной — в том особом смысле, какой понимает только тот, кто изо дня в день делает одно и то же, требующее при этом внимания. Свадебное приглашение отличалось от прошлого свадебного приглашения именами и датой, но шрифт нужно было подобрать заново, отступы выверить заново, и если невеста хотела золотое тиснение, а бюджет был на серебряное, объяснять это тоже приходилось заново, каждый раз чуть иначе, чтобы человек не обиделся.

— Халид, глянь макет, — Хюсейн протянул листок, не поднимая головы от собственного монитора. — Ресторан «Sofra», меню на осень. Хотят, чтобы выглядело дорого, а цены остались прежние.

— То есть подороже на вид, — сказал Халид, — подешевле по факту.

— Именно.

Это была одна из немногих шуток, которые Халид позволял себе на работе, и почти всегда с одним и тем же человеком.

К обеду он сутулился над монитором так, что заныла спина между лопаток — привычная боль, накопившаяся за годы такого сидения, из-за которой он казался ниже, чем был на самом деле. На самом деле роста в нём было немало — отцовского роста, крупных отцовских костей, той основательной, чуть тяжеловатой стати, что хорошо смотрится в форме или у станка, но плохо — за компьютерным столом. Черты лица были другими: узкими, резкими, чуть смуглыми — материнскими. Мать называла себя андалуской, хотя из Андалусии уехала её собственная бабушка, и от той дальней земли остались только тёмные глаза, высокие скулы и имя, которое Халид так и не решился спросить, что означает, пока не стало поздно спрашивать.

Фотографии родителей вместе почти не сохранились — только та, что стояла у него дома на полке, с обрезанным краем: мать когда-то отрезала кусок, где была она сама, недовольная тем, как вышла. На заводе, где работал отец, произошла авария в ночную смену — угарный газ, вентиляция, которую полгода собирались чинить и не починили. Шестнадцать человек в одну смену. Мать была там же, в диспетчерской. Отцу было сорок пять. Матери — сорок три.

Халиду было пятнадцать. Он тогда ещё не умел толком плакать при других — только один раз, на похоронах, когда сестра, которой было девятнадцать, взяла его за руку и сказала «держись», и он, вместо того чтобы разрыдаться, как хотелось, кивнул и стиснул зубы так, что потом два дня болела челюсть. Никто не спросил, готов ли он держаться. Просто было решено — старшими родственниками, соседями, самим временем, — что раз он мужчина в доме, значит, должен.

Он вернулся к экрану. Фотография для похоронного бюро — незнакомый мужчина с царапиной у виска — ждала ретуши, и он снова взялся за работу, аккуратно, внимательно убирая чужие морщины перед вечностью.

— Готово будет к четырём? — заглянула в дверь женщина, заказавшая табличку.

— К четырём, — сказал Халид, не поднимая головы.

В обеденный перерыв он, как обычно, не выходил со всеми. Съел бутерброд у себя за столом, глядя в окно на стоянку, где чайка пыталась выковырять что-то из щели асфальта и никак не могла. Динара со смехом рассказывала кому-то в соседней комнате о вчерашнем свидании — она пришла в мастерскую два года назад, из семьи, переехавшей когда-то из Крыма, и до сих пор иногда вставляла в разговор татарские слова, которые сама объясняла с виноватой улыбкой, будто это была старая привычка, от которой не получалось избавиться.

— Ты вообще ходишь куда-нибудь? — спросила она позже, зайдя за бумагой. — На выходных.

— Иногда, — сказал Халид.

— Куда?

Он на секунду задумался — не потому что не мог вспомнить, а потому что вспоминать было особенно нечего.

— К морю иногда, — сказал он наконец, хотя не заходил дальше набережной уже больше года.

Динара кивнула, взяла пачку бумаги и вышла. Халид посмотрел на дверь ещё несколько секунд и вернулся к экрану.

К вечеру пришёл срочный заказ — свадебное приглашение, которое нужно было переделать полностью, потому что клиентка накануне передумала насчёт цвета.

— Она хочет бордовый вместо изумрудного. К утру. Извини, Халид.

— Ничего, — сказал он, хотя это означало ещё час, а то и два.

Он не умел отказывать. Знал слова, которыми это делается, но никогда не произносил их вслух.

Он остался. Менял шрифт на другой шрифт, потому что бордовый плохо читался на бордовом фоне, и в какой-то момент, потирая уставшие глаза, увидел в тёмном отражении монитора собственное лицо — узкое, смуглое, с отцовским разворотом плеч, который сам же и портил, горбясь над клавиатурой уже пятнадцать лет подряд.

Домой он вышел в начале десятого. Улицы старого города в этот час были почти пусты — только у ограды кто-то запирает лавку с сувенирами, гремя ключами, да со стороны моря доносился ровный, монотонный шум волн, к которому местные давно перестали прислушиваться. Мимо закрытых ворот в сторону Вароши Халид проходил каждый вечер, не глядя туда, — квартал за оградой стоял пустым уже полвека, и хотя весь город давно привык к этому виду, Халиду иногда казалось, что дома там просто ждут, когда кто-нибудь наконец вспомнит, что в них можно вернуться.

Дома он разогрел вчерашний ужин, съел его стоя у плиты. Посмотрел на часы. Отцовские, с потёртым ремешком. Без десяти одиннадцать.

Намаз он откладывал уже полтора часа. Знал, что мог бы помолиться в подсобке типографии, но сегодня было неудобно — заказ горел.

Он расстелил коврик в углу комнаты, между шкафом и окном, и встал на молитву — ту самую, ночную, последнюю из пяти, что в этот день так надолго задержалась.

Глава 2

Утром типография пахла свежей краской — за ночь напечатали большой тираж афиш для городского культурного центра, и запах ещё не выветрился, хотя дверь стояла открытой настежь, впуская утреннюю духоту с улицы.

Халид пришёл первым, как обычно, включил резак, дождался зелёной лампы. Заказ на бордовое приглашение он доделал накануне только к полуночи, отправил клиентке файл и лёг спать, не поев толком. Утром голова была тяжёлой — не от усталости даже, а от того особого раздражения на себя, которое появляется, когда понимаешь, что снова не смог сказать «нет» и снова расплатился за это сном.

Хюсейн явился в девять с чашкой кофе навynos и с порога заявил, что «Sofra» довольна меню и хочет теперь ещё и наклейки на бутылки домашнего вина, а это уже совсем другой формат печати, и пресс под него нужно перенастраивать.

— Разберёшься? — спросил он, хотя это был не вопрос.

— Разберусь, — сказал Халид.

Незадолго до обеда дверь звякнула колокольчиком, и в мастерскую вошёл человек, которого Халид прежде не видел. Немолодой, лет шестидесяти пяти, в старом сером пиджаке, не по сезону тёплом для здешней жары, с папкой под мышкой, из которой торчал уголок мятого листа.

— Мне нужно распечатать вот это, — сказал он, кладя папку на стойку. — Срочно. Извините, что без записи.

Обычно с такими вещами разбиралась Динара, сидевшая ближе к входу, но она как раз отошла в подсобку за бумагой, и Халид, оказавшись единственным, кто был свободен, подошёл сам.

В папке лежал один-единственный лист — старый, судя по пожелтевшей бумаге, машинописный текст, кое-где смазанный, будто его копировали уже не в первый раз с плохого оригинала. Наверху значилось: «Список погибших в смену». Дальше — фамилии, шестнадцать строк, аккуратно пронумерованных.

— Это для чего? — спросил Халид, разглядывая текст скорее машинально, чем из любопытства.

— Годовщина, — сказал мужчина. — Каждый год вешаем список у проходной. Двадцать второй год уже.

Халид не сразу понял, о какой годовщине речь, а когда понял, палец его невольно остановился на строке, которую он до этого не читал внимательно. Восьмая фамилия сверху. Его отца. Девятая — матери.

Он поднял глаза на посетителя, но тот смотрел куда-то в сторону, на витрину с образцами открыток, будто не заметил его замешательства — а может, действительно не заметил.

— Вы работали там же? — спросил Халид, стараясь, чтобы голос звучал ровно.

— Работал, — сказал мужчина. — Я в ту смену не попал. Перевели за неделю до этого на другой участок. Так и живу с тех пор — не понимаю, чем заслужил.

Он произнёс это буднично, без надрыва, как говорят о вещи, о которой думали слишком много лет, чтобы она всё ещё причиняла явную боль, — и постучал пальцами по стойке, будто отбивая какой-то мотив. Четыре коротких удара, один за другим. Халид не обратил на это внимания — мало ли у кого какая привычка.

— Сможете сегодня к вечеру? — спросил мужчина. — Список небольшой, я понимаю, что вам это, наверное, не к спеху...

— Смогу, — сказал Халид. — К шести.

— Дверь у вас, я гляжу, открыта допоздна?

— До семи обычно.

— Хорошо. Пора идти, уже время, — сказал мужчина, будто отвечая на вопрос, которого никто не задавал, кивнул и вышел, не дожидаясь, пока Халид скажет что-то ещё.

Халид остался стоять с листом в руках. Два имени подряд, восьмое и девятое, он мог бы не заметить ни раньше, ни позже, если бы не то, что читал их теперь не с памятника, где буквы давно стали привычными и почти не значащими, а напечатанными чужой машинкой, среди чужих фамилий, в списке, составленном для стенда у проходной завода, который он сам ни разу не видел изнутри.

Он отсканировал лист, набрал текст заново, сверил каждую букву дважды — не потому что боялся ошибиться в чужих фамилиях, а потому что боялся ошибиться в этих двух.

Работая, он вспомнил не аварию — о ней он никогда толком не думал, предпочитая не задерживаться там мыслью дольше секунды, — а обычный вечер, каких были сотни: отец приходит с завода, моет руки над раковиной так долго, что мать шутит про хирурга перед операцией, потом все трое садятся ужинать, и сестра рассказывает что-то про школу, а отец слушает, кивает, изредка вставляя одно слово. Ничего особенного в этом вечере не было. И в следующем тоже. Жизнь у них была ровной, без взлётов, без того, что потом хочется пересказывать, — но в этой ровности была своя правильность, которую Халид ощутил только сейчас, разглядывая список чужих фамилий рядом с двумя знакомыми.

Отец не брал того, что плохо лежит, даже когда на заводе это делали многие — Халид слышал потом, уже взрослым, от родственников, как отца называли то ли чудачком, то ли праведником за то, что он ни разу не вынес со склада ни гвоздя. Мать возвращала лишнюю сдачу в магазине, даже если продавец сам ошибся, даже если сдачи было на копейки. Обоих учили этому их родители, и оба, в свою очередь, учили этому детей — не проповедями, а тем, что просто жили так каждый день, будто иначе и не бывает.

Халид рос с ощущением, что честность — это не подвиг, а норма, как умываться по утрам. И только позже, гораздо позже, он заметил, что мир вокруг устроен немного иначе: что там, где отец однажды промолчал, кто-то другой потребовал бы прибавку; там, где мать вернула лишнее, кто-то бы придержал в кармане и не заметил бы за собой ничего дурного. Он и сам иногда ловил себя на том, что не умеет взять своё там, где имеет полное право взять, — не потому, что боится, а потому что в нём попросту не заложили этого умения, как не заложили умения плавать баттерфляем тем, кого с детства учили только держаться на воде.

Одного он так и не понял за все эти годы, сколько ни думал. Какой смысл был в том, чтобы забрать их именно так — рано, нелепо, среди ночной смены, из-за вентиляции, которую полгода собирались починить и не починили. Они не увидели ни одного своего внука. Не вышли на пенсию, о которой отец иногда упоминал вскользь — что вот, ещё лет десять, и можно будет, наконец, съездить куда-нибудь надолго, не считая дни отпуска. Не купили участок под Кирению, о котором мать заговаривала всякий раз, проезжая мимо холмов за городом, — не как о мечте даже, а как о чём-то само собой разумеющемся, что просто пока откладывается.

Они молились пять раз в день, старались никого не обидеть, жили так, что соседи потом на похоронах повторяли одно и то же — хорошие были люди, тихие, честные, — и вот эта самая тихость, эта незаметность, с которой они прожили свою жизнь, оборвалась так же незаметно, как и шла: без предупреждения, без причины, которую можно было бы понять.

Сестра распорядилась своей долей иначе. Айлин, которая на похоронах в девятнадцать лет сказала ему «держись» и сама держалась крепче всех, теперь жила в столице — у неё была собственная клининговая компания, начатая когда-то с двух сотрудниц и старого микроавтобуса, а выросшая в дело с офисом и десятком бригад; муж, работавший в страховой; двое детей, которых Халид видел от силы раз в год и каждый раз с трудом узнавал — так быстро они менялись. Айлин звонила регулярно, чаще, чем он сам, и почти всегда это она предлагала —

то есть настаивала, — чтобы он приехал: на день рождения племянника, на Рамазан-байрам, просто так, потому что «сколько можно сидеть одному в этой Фамагусте».

Он ездил, когда мог. Сидел за большим столом среди её шумной, устроенной жизни, слушал, как муж Айлин рассказывает про новую страховую программу, кивал детям, которые тянули его смотреть мультфильмы на планшете, и думал иногда — без зависти, скорее с недоумением, — что вот они, одни родители, одна вера, один и тот же тихий дом, а вышло так по-разному. Айлин взяла свою тихость и честность и построила на них дело. Он взял то же самое и не построил ничего, кроме одиночества, аккуратно прибранного, как чужой рабочий стол.

К шести человек не вернулся. Динара, впусившая его утром в память Халида как «того, в сером пиджаке», сказала, что не помнит такого посетителя вовсе — она была в подсобке весь день, могла и не видеть.

— Может, Хюсейн его видел? — предположила она.

Хюсейн только пожал плечами, не отрываясь от счетов:

— Ко мне никто не заходил. У меня дверь в кабинет весь день закрыта была, кондиционер.

Готовый список Халид отложил на край стойки, туда, где обычно оставляли невостробованные заказы. На следующее утро лист всё ещё лежал там, нетронутый.

Он собирался выбросить его через неделю, как выбрасывал обычно всё, за чем не приходили. Но неделя прошла, потом другая, а рука так и не потянулась к корзине.

Вместо этого он однажды, уже под вечер, когда мастерская опустела, взял лист, подобрал к нему тонкую тёмную рамку из тех, что обычно шли под грамоты и благодарственные письма, и аккуратно, придирчиво выровнял список внутри — так, будто готовил его на выставку, а не на заводской стенд, куда со временем этот лист приколют кнопками рядом с прошлогодним объявлением о профсоюзном собрании. Он подрезал паспарту вручную, дважды переделал, пока рамка не легла ровно, и вписал в кассу сумму за материал — свою собственную, не клиентскую, хотя никто не просил его об этом и никто бы не заметил, оформи он список просто на обычном листе А4.

Ему казалось важным, чтобы имена, которые двадцать два года подряд вешали на завод в виде выпцветшей ксерокопии, хоть раз выглядели так, будто их помнят не по обязанности, а по-настоящему. Заводские стены не знали разницы между табличкой техники безопасности и списком погибших — всё висело вперемешку, всё желтело одинаково. Пусть хотя бы в этот год список будет в рамке.

До годовщины оставалось два дня. Каждый раз, когда звякал колокольчик на входе, Халид невольно поднимал голову — быстрее, чем требовалось для обычного клиента, — и каждый раз это оказывался кто-то другой: студент за визитками, женщина с рулоном для баннера, курьер с картоном.

Ну приди же, — повторял он про себя, не замечая, что вообще формулирует это как просьбу. — Два дня осталось. Я не хочу, чтобы эти фамилии так и пролежали здесь — бесмысленно, незаметно.

Он не признавался себе, что дело было не только в списке. Незаметность, о которой он думал, глядя на рамку, была слишком знакома ему самому, чтобы не узнать её с первого взгляда, — и в этом, пожалуй, было самое грустное во всей истории: не в том, что список могли не забрать, а в том, что Халид так ясно понимал, каково это — пролежать где-то годами, не привлекая внимания, ожидая, чтобы кто-то просто вспомнил и пришёл.

Человек пришёл на второй день, под самый вечер, вытирая пот со лба клетчатый платком — жара в этот день стояла особенно плотная, даже кондиционер в мастерской не справлялся.

— Чуть не забыл, — сказал он, улыбаясь чему-то своему, будто знал что-то, чего не знал Халид. — Хотя, по правде, даже если бы забыл — никто бы на заводе и не заметил. Новые

работники этих людей не застали. Для них это просто список, чужие фамилии. Но что-то меня всё-таки привело.

Он подошёл к стойке, увидел рамку — не обычный лист, а вложенный в тёмное паспарту, ровно выставленный список, — и хмыкнул, разглядывая её ближе.

— Это что, теперь доплата? — спросил он, не то шутя, не то всерьёз.

— Нет-нет, — поспешил сказать Халид. — Это от типографии. Платить не нужно.

— Так я не могу, — покачал головой человек. — Назовите цену. За всё в этом мире нужно платить.

Фраза прозвучала обыденно, без всякого пафоса — так говорят о чём угодно, о хлебе, о такси, — но Халида она почему-то задела за живое, вернула на секунду к отцу, который говорил что-то очень похожее.

Ему захотелось сказать: я сын этих двух фамилий, восьмой и девятой. Слова уже почти сложились, но он придержал их — какой смысл, подумал он, отнимать у человека время чужой историей, которую тот и не спрашивал.

Мужчина, впрочем, никуда не спешил. Он опустился в кресло для посетителей — старое, продавленное тысячами других, кто сидел здесь до него, ожидая своей очереди, нервно постукивая ногой или щёлкая суставами пальцев, — и устроился в нём так, будто собирался задержаться надолго.

— А вы чей будете? — спросил он вдруг, без перехода. — Спрашиваю, потому что вы так на список смотрели в тот раз — не как человек, который просто печатает.

Халид помедлил секунду, потом сказал, тише, чем хотел:

— Я сын Услу. Восьмой и девятой фамилии в списке.

Мужчина не удивился — во всяком случае, не так, как ожидал Халид. Он просто кивнул, будто получил подтверждение тому, что и так знал, и посмотрел на рамку на стойке уже иначе — не как на заказ, а как на что-то, что теперь окончательно перестало быть просто списком.

— Услу, — повторил он тихо, пробуя слово на вкус. — Помню обоих. Отца вашего — точно. Спокойный был человек, неразговорчивый.

Он помолчал, поглядел в окно, где вечернее солнце садилось за крыши старого города.

— Я на похоронах был. Муж и жена, добросовестные люди. Близко мы знакомы не были, здоровались по долгу службы. Но те, кому доводилось с ним пообщаться, говорили, что был он человеком пронизательным, умным — но без той тени высокомерия, которая обычно к таким людям липнет.

— А мать вашу помню меньше. В диспетчерской редко бывал. Но фамилию тогда, после всего, слышал часто — соседи говорили, хорошая была женщина, набожная, из тех, кто лишнего слова не скажет.

Он снова побарабанил пальцами по подлокотнику — те же четыре ноты, — и вдруг посмотрел на часы, которых, впрочем, у него на запястье не было.

— Мне пора, — сказал он, поднимаясь. — Пора идти, уже время.

Халид машинально взглянул на свои — отцовские, с потёртым ремешком. Было время магриба.

Халид задержался в тот вечер дольше обычного — на час с лишним, доделывая заказ для «Sofra», хотя мог бы отложить его на утро. Домой не спешил. Все эти дни, с тех пор как в мастерскую впервые принесли список, он то и дело возвращался мыслями к отцу — не к аварии, а к обычным, будничным вещам, которые тот говорил, почти не придавая им значения, и которые Халид помнил лучше, чем помнил его лицо.

Одна фраза всплывала чаще других. Отец говорил это не часто — раза три, может, четыре за всю жизнь, — но каждый раз одинаково твёрдо: если услышишь азан поблизости, брось все дела и поспеши на зов. От этой молитвы больше пользы, чем от всех мирских дел, вместе взя-

тых. Ты можешь опоздать на работу, можешь не успеть куда-то, но на зов Всевышнего опаздывать нельзя.

Сам Халид давно так не делал. Молился, когда получалось, чаще с опозданием, чем вовремя, и это опоздание давно перестало казаться ему грехом — просто обстоятельства, просто жизнь такая, разве бывает иначе.

Но в тот вечер, выйдя из мастерской и услышав азан на иша, доносившийся откуда-то со стороны старого города — негромко, но отчётливо в ночной тишине, — он вдруг остановился посреди улицы, будто голос отца произнёс это прямо сейчас, у него за спиной.

Он не пошёл домой. Свернул в сторону мечети — небольшой, потемневшей от времени, с одним минаретом, мимо которой проходил почти каждый день и в которую не заходил, кажется, с прошлого Рамадана.

Внутри было немного людей — несколько стариков, один мужчина в рабочей одежде, видимо, тоже задержавшийся после смены. Халид снял обувь, встал в ряд, и когда началась молитва, поймал себя на том, что впервые за долгое время не торопится — ни мыслями, ни телом. Просто стоит, слушает, следует.

...После, уже выходя, он подумал, что отец, наверное, был бы рад видеть его здесь — не потому что это было бы каким-то подвигом, а потому что это было бы просто правильно, так, как отец сам жил каждый день, без объяснений и без пафоса.

И тут он увидел его.

Мужчина в сером пиджаке сидел впереди, ближе к михрабу, там, где обычно садятся те, кто приходит первым. Рамка со списком лежала рядом на ковре, прислонённая к его колену. Молитва давно закончилась, ряды за спиной опустели, а он всё сидел — неподвижно, с закрытыми глазами, будто продолжал что-то повторять про себя, хотя губы его не двигались.

Халиду не хотелось уходить. Ему вдруг отчаянно захотелось снова заговорить с этим человеком — спросить ещё что-нибудь об отце, о матери, о заводе, о том времени, которое сам он помнил только урывками, детскими, неполными кусками. Он сел неподалёку, у стены, и стал ждать.

...Прошло минут двадцать. Потом сорок. Мужчина не шевелился. Халид проголодался — он не ел с обеда — но продолжал сидеть, глядя то на неподвижную спину впереди, то на рамку, всё так же прислонённую к колену.

Разве можно так долго молиться, — подумал он, теряя терпение. — О чём вообще можно просить полтора часа подряд?

Он бросил осторожный взгляд сбоку — убедиться, что всё в порядке, что человек просто задремал или погружён в размышления, — и, не увидев ничего тревожного, решил всё же уйти. Поднялся, тихо, стараясь не шаркать, направился к выходу.

Сзади раздалось покашливание.

Халид обернулся.

— Вы меня ждали? — спросил мужчина, глядя на него снизу, всё ещё сидя на ковре.

Халид не сразу нашёлся, что ответить — не столько от вопроса, сколько от того, как он прозвучал: буднично, без всякого удивления, будто мужчина всё это время знал, что Халид сидит у стены. Он ведь не представлялся ему по имени — ни в мастерской, ни сейчас. Откуда мужчина вообще знал, как его зовут?

— Да, — сказал он наконец.

— Не забудьте список, — тихо проговорил Халид, кивнув на рамку.

— Да-да, конечно, чуть не забыл, — быстро отозвался мужчина, поднимаясь с ковра и беря рамку в руки. — А вы успеете повесить его? Завтра уже тот самый день.

— Надеюсь, — ответил он. — Забыл представиться. Я Муслим.

Он протянул руку, и Халид пожал её, всё ещё пытаясь понять, когда же за весь этот разговор — в мастерской, здесь, в мечети — он сам успел назвать своё имя вслух. Кажется, не успел. Но спрашивать не стал.

Халид ждал, что мужчина хотя бы удивится — спросит, зачем он тут сидел столько времени, чего ждал, не замёрз ли, не заскучал ли. Но Муслим ни о чём таком не спросил, будто и так знал ответ заранее, будто читал его не снаружи, а изнутри, минуя все те вопросы, которые обычно задают в подобных случаях.

— Проголодались, наверное, — сказал он вместо этого, глядя на Халида с той же лёгкой, ничего не объясняющей улыбкой, с какой пришёл в мастерскую в первый раз. — Я сам очень голоден. Не составите компанию?

— Да, — ответил Халид. — Тут рядом есть забегаловка.

— Я ем только рыбу, — сказал Муслим.

— Рыба там тоже есть, — сказал Халид.

Почему именно рыбу, — подумал Халид, но вслух не спросил.

— Рыбу можно есть без сомнений в чистоте, — сказал Муслим. — Ешь дома, если можешь. А если пришлось есть на улице — лучше рыбу. Меньше вопросов, откуда она и как её готовили.

Халид остановился на полшага. Это были не чужие слова. Это были слова отца — те самые, что он говорил ему в детстве, когда они изредка ели вне дома, слова, которые Халид не слышал вслух уже двадцать с лишним лет и не вспоминал бы сам, если бы их сейчас не произнёс кто-то другой.

— Откуда вы это знаете? — спросил он, стараясь, чтобы голос не выдал того, что творилось внутри.

Муслим взглянул на него спокойно, без тени смущения или желания оправдаться.

— Разве не так говорил ваш отец? — просто спросил он.

Халид не ответил. Они пошли дальше, и Фамагуста вокруг них медленно остывала после дневной жары — с моря тянуло лёгким, солоноватым ветром, и где-то за углом раздавался стук нард из открытой чайханы, куда двое стариков уже устраивались на вечер.

Этот человек был странным. Он ведь сам сказал в мастерской — знал отца не близко, здоровались по долгу службы, только и всего, — а говорил теперь его словами, будто прожил с ним под одной крышей. Он словно читал мысли Халида ещё до того, как тот успевал их толком сформулировать, отвечал на вопросы, которые не были заданы, чувствовал наперёд то, что Халид только собирался сказать.

Бояться его не было смысла — в этом Халид почему-то был уверен так же твёрдо, как в том, что земля под ногами не разверзнется. Но вся эта ситуация будоражила мысли, которые давно уже не шевелились, — лежали внутри неподвижно, как стоячая вода без единого колебания, годами не тронутая ни ветром, ни камнем.

Для Халида эта встреча была чем-то необычным, редким — тем, что хоть на вечер развеяло привычную скуку и однообразие его дней, где каждое утро начиналось с зелёной лампы резака, а каждый вечер заканчивался одним и тем же ковриком в одном и том же углу. Он не помнил, когда в последний раз шёл по улице рядом с кем-то, не считая минуты до расставания, не думая, чем бы поскорее закончить разговор и вернуться к тишине, которая давно стала для него удобнее любого общества.

Они присели за маленький столик кафе на самой набережной — пластиковый, шаткий, с видом на тёмную воду, где вдалеке покачивались редкие огни рыбацких лодок. Город вокруг понемногу затихал: закрывались лавки, гасли витрины, только чайки ещё кричали над мусорными баками у порта, не желая униматься до утра.

Халид, не раздумывая, заказал две порции жареной рыбы — той самой, местной, которую жарили так, что все мелкие косточки истончались и таяли во рту незаметно, а корочка хрустела

при первом же прикосновении вилки, оставляя внутри сочную, ещё горячую мякоть. Рыбу подавали прямо на горячей лепёшке, с ломтями салата и половинкой лимона сбоку, и турецкий чай — крепкий, сладкий, в маленьких стаканчиках-грушах — шёл к заказу сам собой, без вопросов. Можно было забрать с собой, в пластиковых контейнерах, или есть сразу же, за столиком, — официанты в этот поздний час не любили, когда клиенты задерживали заказ лишними разговорами и уточнениями.

Муслим кивнул на выбор с явным одобрением, будто Халид угадал что-то важное, хотя угадывать было особо нечего — в этом городе жареную рыбу заказывали именно так, все и всегда.

— Сколько вам лет? — спросил Муслим, разламывая лепёшку пополам.

— Тридцать семь, — сказал Халид.

Муслим кивнул, будто услышанная цифра что-то для него подтвердила, хотя вслух ничего не добавил — просто принялся за рыбу, аккуратно, неторопливо, как человек, у которого впереди целый вечер и ни одной причины спешить.

Прежде чем притронуться к еде, Муслим тихо, почти неслышно, произнёс короткую молитву — те же слова, с той же короткой паузой перед первым куском, что делал когда-то отец Халида, каждый раз, за каждым столом, будь то праздничный ужин или обычный бутерброд на скорую руку.

Халид смотрел на это и чувствовал что-то похожее на стыд. Он и сам знал эти слова — знал их с детства, слышал сотни раз, — но сам произносил их редко, чаще спохватываясь уже после того, как рыба была наполовину съедена, или не произнося вовсе, просто беря вилку сразу, как берут её люди, для которых еда — не более чем еда. Он знал, что это важно. Знал и то, что отец никогда не пропускал этой короткой паузы, какой бы голодный ни был, каким бы усталым ни возвращался со смены. Но у самого Халида это почему-то не прижилось — маленькая, простая привычка, которая должна была перейти от отца к сыну вместе с домом, часами, фамилией, а перешла не полностью, будто где-то по дороге затерялась половина наследства.

— Не женаты? — продолжил Муслим, не дожидаясь, пока Халид ответит на предыдущий вопрос до конца, будто и так знал ответ заранее.

Халид покачал головой.

— Никогда не поздно, — сказал Муслим сам себе, отвечая на вопрос, который не был задан вслух, и отломил ещё кусок лепёшки, не глядя на Халида, будто дал ему время не отвечать, если не хочется.

Халид решил просто ни о чём не думать — задача, едва ли выполнимая для человека, который весь вечер только тем и занимался, что думал. Он усилием воли стал отгонять от себя мысли об Айше, боясь, что Муслим доберётся и до этого — до той части его жизни, куда он и сам предпочитал не заглядывать без крайней нужды, — и тогда он окажется перед этим странным человеком совершенно нагим, без единой оставшейся при себе тайны.

— Не буду обременять вас лишними вопросами, — сказал вдруг Муслим, будто уловил, куда метнулась мысль Халида, и решил сам, без просьбы, отступить в сторону.

Он произнёс это легко, без всякого намёка на то, что уже почти коснулся чего-то, о чём Халид не был готов говорить, — и снова взялся за рыбу, будто разговор о женитьбе, о возрасте, обо всём остальном был лишь случайным, ничего не значащим фоном к хорошему ужину.

— Вы так долго молились, — сказал Халид.

— А вы так долго и терпеливо меня ждали, — ответил Муслим.

Оба рассмеялись — легко, неожиданно для самого Халида, который не помнил, когда в последний раз смеялся вот так, без повода, без старания, просто потому, что было смешно.

— Терпение — ваша сильная сторона, — сказал Муслим, отсмеявшись. — За него есть награда.

Он произнёс это буднично, между делом, отламывая ещё кусок лепёшки, будто не сказал ничего особенного — просто заметил вслух то, что видел. Но Халиду эти слова отчего-то запомнились сильнее, чем весь остальной разговор за вечер, — не потому что были красивыми, а потому что никто прежде не называл его терпение достоинством. Дома это называли покорностью. На работе — удобством. Он и сам, если бы спросили, назвал бы это скорее слабостью, чем силой.

Когда с рыбой было покончено, а чай в стаканах остыл почти до конца, Муслим взглянул на небо — не на часы, которых у него не было, а именно на небо, тёмное, безлунное в этот час, — и поднялся из-за стола.

— Пора идти, уже время, — сказал он, доставая из кармана мелочь для официанта, прежде чем Халид успел потянуться за своей.

— Спасибо, что согласились составить компанию, — сказал Халид, вставая следом. — И за рассказ об отце. Мне это было важно.

— Мне тоже было важно, — ответил Муслим просто, без лишних слов, и на мгновение коснулся его плеча — легко, почти незаметно, как трогают старого знакомого на прощание.

Он повернулся и пошёл вдоль набережной, туда, где фонари были реже, а тени — гуще. Халид смотрел ему вслед несколько секунд, раздумывая, стоит ли окликнуть его ещё раз, спросить телефон, предложить встретиться снова, — и когда всё же решил обернуться, чтобы посмотреть, далеко ли тот ушёл, набережная за спиной оказалась пуста.

Он постоял ещё немного, глядя на тёмную воду, потом медленно пошёл домой — не расстроенный, скорее задумчивый, с тем непривычным теплом внутри, какое бывает после хорошего, неожиданного разговора, который потом долго не хочется тревожить пересказом даже самому себе.

Халид постелил молитвенный коврик.

Глава 3

Наутро Халид проснулся раньше будильника — впервые за долгое время не от усталости, а будто внутри что-то само подтолкнуло его встать. За окном ещё стояли сумерки, город только начинал шевелиться: где-то вдалеке заводил мотор мусоровоз, кричали первые чайки над рынком.

Он сварил кофе, сел у окна и долго смотрел на пустую улицу, вспоминая вчерашний вечер — рыбу на горячей лепёшке, смех, слова про терпение, которое оказалось не слабостью, а силой, за которую, как сказал Муслим, «есть награда». Он так и не понял, что тот имел в виду, но фраза застряла в нём, как застревает мелодия, услышанная мельком.

День на работе начался как обычно — макеты, звонки, короткий перерыв на бутерброд у окна. Динара рассказывала что-то про новый сериал, который начала смотреть, а Халид кивал невпопад, думая совсем о другом. Сегодня был короткий день, работа заканчивалась на 4 часа раньше обычного.

К вечеру, когда он уже собирался закрывать кассу, дверь распахнулась резко — будто её толкнули с разбегу. На пороге стоял мужчина лет тридцати, мокрый насквозь, с моря, в наспех наброшенной на голое плечо рубашке, с которой на пол стекали тёмные капли.

— Мне нужна помощь, — выпалил он, едва переводя дыхание. — Срочно. Транспарант и стартовые номера — файл потерян, машина в другой мастерской сломалась, а через час старт.

Халид непонимающе посмотрел на часы. Время 4.30 вечера. Хюсейн уже ушёл домой, Динара как раз закрывала кассу, собираясь тоже уходить.

— Какой старт? — спросил Халид.

— Заплыв через бухту, — сказал мужчина, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, оставляя мокрые следы на полу. — Благотворительный. Я сам его организовал, полгода готовился.

Он забарабанил пальцами по стойке, будто пытаясь унять нетерпение через кончики пальцев, — короткая, четырёхкратная последовательность стука, один в один похожая на ту, что Халид уже слышал однажды, но не связал сейчас одно с другим, слишком занятый мыслью о невозможных сроках.

Динара беспомощно развела руками — она уже выключила свой компьютер. Оставался только Халид.

— Двадцать минут у меня есть, — сказал он скорее себе, чем мужчине, садясь обратно за стол и включая монитор. — Присылайте, что есть.

Дальше время сжалось до предела: файлы, шрифты, спешная вёрстка транспаранта, распечатка стартовых номеров одним нажатием, пока принтер гудел на пределе. Мужчина расхаживал по мастерской, не в силах усидеть на месте, рассказывал обрывками — про то, как готовил этот заплыв целый год, про сборы на благотворительность, про то, что если сорвётся сейчас, второго шанса в этом сезоне уже не будет.

Курьера не было, а до набережной было десять минут пешком.

— Я сам доведу, — сказал Халид, хватая ещё тёплый транспарант.

Они почти бежали через старый город, мимо венецианских стен, мимо закрывающихся лавок, и с каждым шагом Халид всё яснее слышал шум моря — тот самый шум, мимо которого проходил вечерами уже больше года, ни разу не свернув в его сторону.

На набережной толпились участники, кто-то уже разминался у воды, стартёр нервно проверял свисток. Транспарант нужно было натянуть между двумя столбами у самой кромки воды — и Халид, не раздумывая, снял ботинки, зашёл по щиколотку в тёплую вечернюю воду, чтобы дотянуться до дальнего крепления.

— Спасибо, что успели, — сказал мужчина, уже застёгивая шапочку для заплыва. — Пора идти, уже время.

И ушёл в воду вместе с остальными, а Халид остался стоять на берегу, чувствуя, как мокрый песок липнет к босым ступням, и глядя, как ровная линия пловцов удаляется в сторону дальнего берега бухты.

Он стоял там долго — дольше, чем требовалось, дольше, чем можно было объяснить простой ответственностью за напечатанный транспарант, — и впервые за много месяцев почувствовал что-то похожее не на усталость, а на азарт: лёгкое, почти забытое ощущение, что где-то там, в темнеющей воде, происходит что-то настоящее, и он, пусть на несколько минут, оказался к этому причастен.

Глава 4

Домой он возвращался медленно, с солью на коже и песком в ботинках, и где-то на середине пути поймал себя на том, что думает не о заплыве и не о Муслиме, а об Айше — как всегда бывало в те редкие вечера, когда в нём что-то по-настоящему оживало. Странная, необъяснимая закономерность: стоило ему хоть на минуту почувствовать себя живым, как память тут же подсовывала её лицо, её голос, ту особенную манеру щуриться на солнце, которую он помнил лучше, чем помнил лица многих людей, видел которых куда чаще.

Он попытался, как обычно, отогнать эти мысли — усилием воли, тем же способом, каким отгонял их годами, — но сегодня это давалось труднее обычного. Заплыв, вода, азарт, чужой смех на набережной — всё это расшатало ту привычную дисциплину, с которой он держал себя в узде, и мысли, вместо того чтобы послушно отступить, продолжали плыть в её сторону, будто вода, в которую он сегодня всё-таки вошёл, размыла и другие, давно застоявшиеся берега.

Он плавал профессионально ещё подростком — тренер прочил ему разряд, может, и сборную, — а после смерти родителей плавание осталось единственным, что помогало хоть немного унять то, что творилось внутри. По утрам, ещё затемно, он доплывал до дальнего края бухты и обратно, и вода в те годы была едва ли не единственным местом, где он не чувствовал себя обязанным держаться и не позволять себе слабости.

Там, на берегу, он и увидел Айшу впервые — она шла с подругами вдоль кромки воды, смеясь чему-то, а ветер вдруг сорвал с её плеч лёгкий шарф и унёс в воду. Халид, не раздумывая ни секунды, бросился следом прямо в одежду, выловил шарф из волн и молча протянул ей, мокрый, отфыркивающийся, немного смущённый собственной импульсивностью.

Год после этого они встречались на том же берегу почти каждое утро — не сговариваясь, но оба зная, что придут, — и ни разу за весь этот год не подошли друг к другу ближе двух шагов. Воспитание не позволяло. Страх чужих разговоров, соседских пересудов, того, что скажут родители, держал их на расстоянии надёжнее любой ограды. Они говорили о погоде, о её учёбе, о его тренировках, стоя на безопасном расстоянии, будто между ними была невидимая черта, которую оба боялись переступить.

Когда он наконец решился — набрался смелости, подошёл ближе положенного, сказал то, что копил в себе месяцами, — она не ответила ничем. Просто развернулась и ушла, и на берегу не появлялась потом целую неделю.

Ему было восемнадцать тогда. Ей — двадцать, она училась на биолога, и эта разница в два года почему-то всегда казалась Халиду огромной, хотя никто, кроме него самого, никогда об этом не заговаривал.

На восьмой день она пришла. Остановилась там же, где всегда, — на расстоянии двух шагов, не ближе, — и сказала, не глядя ему в глаза, будто произносила что-то, что репетировала все эти дни:

— Да. Я тоже тебя люблю.

Это был самый счастливый день, какой Халид мог тогда себе представить.

После этого он думал, что дальше всё пойдёт своим чередом — так, как идёт у всех: сначала осторожность, потом привыкание, потом уже не нужно будет стоять в двух шагах друг от друга, боясь чужих взглядов. Сам он тогда мечтал о робототехнике, о машиностроении — хотел поступить в университет, строить что-то настоящее руками и головой одновременно, — но для платы за учёбу нужно было сначала заработать, и он устроился на первую попавшуюся работу, взял смены, где давали, откладывал по крохам.

Встречи с Айшой стали реже — то её занятия, то его смены не совпадали, — но именно от этого, как ни странно, каждая новая встреча становилась слаще, будто ожидание само по себе превратилось в часть их любви. Ему казалось, что связь между ними настолько прочна, что

никакие обстоятельства её не тронут. Казалось даже, что её родители не против — они знали семью Халида, знали в первую очередь его деда, учёного, уважаемого в их округе человека, чьё имя открывало двери там, где сам Халид ещё ничего не успел заслужить.

Но у судьбы, как оказалось, были другие расчёты.

Через месяц после того, как Айше исполнился двадцать один год, её отправили на стажировку — так это было представлено сначала. Позже, уже при личном разговоре, она узналась, что дело было не в стажировке. Родители сосватали её за сына старых друзей семьи, живших в Стамбуле, и она должна была уехать туда — продолжать учёбу, но уже там, уже с другой фамилией впереди, которая ждала её в будущем.

Всё, что Халид успел построить в мыслях за эти три года — не только отношения, но и целую жизнь вперёд, — осыпалось разом, без предупреждения, так же внезапно, как когда-то авария на заводе унесла его родителей. Только на этот раз некого было хоронить, не на что было смотреть на памятнике. Просто в один день человек, вокруг которого он выстроил себе будущее, перестал быть частью этого будущего — и никто в этом не был виноват, и оттого было ещё тяжелее.

«А как же Айша?» — спросите вы. Почему она не воспротивилась, не сказала родителям «нет», не выбрала его вместо чужого сына из Стамбула? Этот вопрос так и остался для Халида без ответа — ни тогда, ни много лет спустя он не смог для себя решить, было ли в её молчании смирение перед волей родителей, страх перед скандалом, или, может быть, что-то в её собственном сердце, о чём он никогда не узнает.

В тот день, прочитав её сообщение — короткое, сухое, будто написанное второпях, лишь бы избежать долгого разговора, — Халид впервые в жизни сделал то, чего никогда прежде не позволял себе: он не сел, не смолчал, не начал перебирать в уме, как правильнее поступить. Он вышел из дома и пошёл прямо к ним — туда, где жила Айша с родителями, в квартал, куда до этого заходил разве что мимоходом, никогда не поднимаясь выше первого этажа их подъезда.

Дверь открыл её отец.

Халид тогда ещё не был сломлен судьбой — высокий, статный, широкий в плечах отцовской статью, — в свои девятнадцать он выглядел куда старше, чем был на самом деле, и это, пожалуй, единственный раз в жизни сослужило ему службу: отец Айши не смотрел на него как на мальчишку, явившегося качать права, а смотрел как на взрослого мужчину, пришедшего с серьёзным разговором.

— Я люблю вашу дочь, — сказал Халид, не задумываясь. — Я хочу на ней жениться.

Отец Айши смотрел на него долго, без злобы, скорее с той усталой снисходительностью, с какой смотрят на порыв, который уже опоздал.

— Сынок, тебе ещё строить свою жизнь. Учиться. Вставать на ноги, — сказал он наконец. — Я хочу, чтобы моя дочь ни в чём не нуждалась. Таких любовей у тебя ещё будет много, успеешь. А наше намерение — серьёзное. Я уже дал им своё согласие.

— Но Айша тоже любит меня, — сказал Халид, чувствуя, как голос предательски дрожит. — Вы не можете вот так взять и выдать её замуж против воли. Она не будет счастлива. А я — я смогу сделать её счастливой.

Отец Айши усмехнулся — не зло, скорее устало.

— Не спеши с обещаниями, — сказал он. — Будет то, что предначертано.

Предначертано. Халид не сразу нашёл, что ответить на это слово — оно прозвучало так уверенно, так спокойно, будто отец Айши держал в руках готовый список судеб и просто зачитывал ему нужную строку. Тогда, стоя на пороге чужой квартиры, Халид не понимал, как можно этим словом прикрывать то, что казалось ему обыкновенной жестокостью: разрушить не одну жизнь, а сразу две, и назвать это волей небес, будто сам ты в этом не участвуешь.

Халид не сдался так легко. На следующий день он пришёл к её университету и ждал у входа, хотя знал, что она может выйти через другую дверь, хотя знал, что рискует показаться навязчивым, отчаявшимся, смешным в глазах её сокурсников. Ему было всё равно.

Она вышла ближе к вечеру, увидела его — и на секунду замерла, будто хотела развернуться обратно, но не успела. Подошла, только не на два шага, как раньше, а держась ещё дальше, скрестив руки на груди, глядя куда угодно, только не ему в глаза.

— Мне нечего сказать, — проговорила она тихо. — Пожалуйста, не приходи больше.

— Я был у твоего отца, — сказал Халид. — Он сказал, что уже дал согласие. Но мне нужно услышать это от тебя. Не от него. От тебя.

Она молчала. Молчание тянулось так долго, что мимо них дважды прошли группы студентов, кто-то окликнул её по имени, она не ответила.

— Скажи мне сама, — повторил он. — И я уйду. Обещаю. Но я должен услышать это от тебя.

Ему было непонятно, почему в этой борьбе за неё саму он оказался один. Почему он стоит здесь, у чужих ворот, готовый спорить с целой семьёй, с целым городом, если понадобится, — а она молчит, опустив глаза, будто вся эта борьба его не касается, будто он воюет за что-то, что давно решено без него.

— Я согласилась, — тихо промолвила Айша, всё ещё не поднимая глаз. — Я уезжаю.

Она сказала это так просто, так буднично, будто речь шла о переезде в другой район, а не о конце всего, что между ними было. Халид стоял, не в силах ни ответить, ни двинуться с места, а она, так и не взглянув на него больше, повернулась и пошла прочь — быстро, не оглядываясь, будто боялась, что если обернётся хоть раз, решимости не хватит.

Тогда, девятнадцатилетнему, ему казалось, что она просто не устояла — что её попросту снесло течением, тем самым, что несёт слабых людей туда, куда они сами никогда бы не поплыли по собственной воле, прямо в пропасть чужого решения, из которого нет обратного пути.

Только спустя годы, уже не однажды прокрутив тот разговор у ворот университета, Халид начал понимать это иначе. Дело было не в реке и не в течении. У Айши, как оказалось, никогда не было той уверенности в их будущем, какая была у него самого. Он строил это будущее в одиночку, кирпич за кирпичом, у себя в голове, — институт, работа, дом, — а она всё это время, возможно, лишь наблюдала со стороны, как он строит, не решаясь сказать вслух, что сама в эти стены не до конца верит.

Это было горше, чем думать о предательстве. Предательство хотя бы можно было простить, списав на слабость чужой воли. А вот это — тихое, спрятанное сомнение, которое она носила в себе весь тот год, пока говорила ему на берегу нежные слова, — простить оказалось куда труднее.

Так у молодого Халида, лишённого опоры родителей, взявшего на себя тяжесть ответственности — не только за себя, но и за то, чтобы держаться, чтобы быть тем, на кого можно опереться в семье, — вера в любовь начала меркнуть. Не разом, не в один день, а постепенно, месяц за месяцем, будто кто-то медленно задёргивал плотную штору перед окном, которое раньше впускало свет.

Он не стал ожесточённым и не стал циничным — этого в нём никогда не было и не появилось потом. Просто нежное, слишком открытое сердце, однажды получившее удар, которого не ждало, само выстроило вокруг себя стену — не из злости, а из осторожности, — чтобы впредь ничего подобного не повторилось. И стена эта, возведённая в девятнадцать лет одним ударом кладки, простояла нетронутой ещё восемнадцать лет, надёжно охраняя то небольшое, что в нём ещё оставалось живым, от всего, что могло бы это снова разбить.

Айлин была устроена иначе. Там, где Халида ранило легко и глубоко, сестру будто с рождения привили от подобных вещей — она смотрела на мир рациональнее, холоднее, без

той детской готовности верить, что всё обязательно сложится хорошо. Выбирая себе спутника жизни, она ориентировалась не на трепет и не на бабочек в животе, а на надёжность — и остановилась на мужчине старше себя на десять лет, спокойном, обстоятельном, из тех, кто не подводит.

Когда Айлин объявила о своём твёрдом решении, Халид, конечно, поддержал её — как поддерживал всегда, без вопросов, без попыток отговорить. Свадьбу сыграли скромную, помогли родственники и те немногие сбережения родителей, которые Халид всё это время берёг именно на такой случай — на приданое сестре, чтобы она, выходя замуж, не чувствовала себя сиротой, не имеющей за спиной ничьей поддержки.

Уезжая в другой город, оставляя родительский дом уже во второй раз в жизни, Айлин крепко обняла брата на пороге и сказала то же самое, что сказала когда-то на похоронах, слово в слово:

— Держись, брат. И спасибо тебе за всё.

Сам Халид, ещё не отошедший от собственного потрясения, был благодарен Богу хотя бы за то, что у сестры всё складывалось хорошо — что теперь можно было не тревожиться за неё, знать, что она пристроена, защищена, что рядом с ней надёжный человек. Эта благодарность была настоящей, без тени зависти, хотя где-то внутри, не признаваясь себе в этом, он, возможно, надеялся, что и его жизнь однажды выстроится так же складно.

Но у него всё пошло иначе. Он устроился на работу в самую обыкновенную типографию, с самым обыкновенным заработком — того хватало на жизнь, на квартиру, на еду, но не хватало, да и не предполагалось, что должно хватать, на мечты. А мечт у него, если разобраться, и осталось немного: не о робототехнике, не о машиностроении, не о дипломе, который так и не удалось получить, — только те немногие, бытовые желания, которые он и мечтами-то не рискнул бы назвать.

Старая боль, разбуженная то ли списком с именами родителей, то ли разговором с Муслимом, то ли просто тем, что он снова оказался у воды впервые за год, не отпускала его весь остаток вечера. Мысли об Айше возвращались чаще, чем ему хотелось бы, — не навязчиво, но упрямо, как возвращается заноза, стоит случайно задеть палец о старый шов.

Успокоение, как и прежде, приходило только в двух местах: в воде и на молитве.

На афише, которую он сам напечатал два дня назад, значилось мелким шрифтом внизу — то, на что он тогда не обратил внимания, торопясь успеть к сроку: заплыв через бухту длится три дня, с открытым участием для всех желающих в субботу и воскресенье, после основного, профессионального старта в пятницу. Любой мог прийти к назначенному часу, отметить у организаторов и проплыть открытую дистанцию.

Халид перечитал эту строчку раза три, будто проверяя, не ошибся ли, — и весь вечер потом ловил себя на мысли, что уже почти решил пойти. Решение это пугало его собственной внезапностью: он не помнил, когда в последний раз выбирал что-то не потому, что было нужно, а просто потому, что хотелось.

Халид постелил молитвенный коврик.

Глава 5

В субботу ближе к полудню бухта выглядела иначе, чем накануне вечером, когда Халид впервые за год зашёл в неё по щиколотку с транспарантом в руках. Сейчас, при дневном свете, вода казалась спокойнее, прозрачнее, а на берегу вместо праздничной суеты пятничного старта собралась небольшая, разношёрстная компания — человек пятнадцать, не больше, кто в неопрене, кто в самой обычной одежде для плавания.

Столик регистрации стоял там же, где Халид крепил транспарант. За ним сидел мужчина лет сорока, крепкий, загорелый, с коротко стриженной бородой, отмечавший участников в потрёпанном блокноте. Когда подошла очередь Халида, мужчина поднял голову, и в его взгляде мелькнуло узнавание.

— Так вы тот самый, из типографии, — сказал он, протягивая руку. — Омар. Спасибо ещё раз за транспарант — без него бы всё сорвалось.

— Халид.

— Решили попробовать? — Омар кивнул на воду. — Дистанция несложная, до второго буй и обратно. Хронометража нет, медалей тоже — только вода и хорошее настроение.

Пока остальные участники разминались у кромки воды, Омар снял футболку, и Халид невольно задержал взгляд на его левой руке — вернее, на том, что должно было быть рукой: виднелся протез, настолько искусно скрытый под облегающим гидрокостюмом, что при беглом взгляде его можно было принять за обычный длинный рукав. Только присмотревшись, можно было заметить лёгкую неестественность движения, чуть иной изгиб, которым Омар компенсировал недостающую конечность.

Заметив взгляд Халида, Омар не смутился и не стал ничего скрывать.

— Автомобильная авария, десять лет назад, — сказал он буднично, застёгивая шапочку. — После неё пришлось учиться плавать заново. Врачи говорили, что с одной рукой конкурентный результат не покажешь. Через два года я взял серебро на Паралимпийских играх.

Он сказал это без всякого пафоса, тем же тоном, каким сообщают о погоде, и Халиду стало неловко, что он вообще позволил себе так пристально смотреть.

— Простите, — сказал он. — Не хотел...

— Ничего, — отмахнулся Омар. — Все смотрят. Я привык. Хуже, когда стесняются спросить.

Они вошли в воду вместе с остальными по общему знаку, без выстрела стартового пистолета — просто чей-то голос крикнул «пошли!», и вся небольшая группа неровной цепочкой двинулась вдоль берега.

Халид, к своему удивлению, легко держал темп рядом с Омаром — тот плавал мощно, уверенно, компенсируя отсутствие руки особой, чуть асимметричной техникой гребка, которая со стороны могла показаться неправильной, но на деле работала не хуже классической.

У дальнего буйа, где полагалось развернуться, часть пловцов остановилась передохнуть, держась за буй или просто зависнув на месте, лениво перебирая ногами. Омар подплыл ближе, откинул голову назад, отдышался.

— Знаете, ради чего этот заплыв? — спросил он, всё ещё немного сбивчиво после дистанции. Собираем на спортивный комплекс. Для детей. Таких, как я тогда, после аварии. Специально оборудованный — с пандусами, с поручнями в бассейне, с тренерами, которые умеют работать с протезами и колясками. В городе такого пока нет.

— Сколько нужно собрать? — спросил Халид, держась рядом, работая одними ногами, чтобы не сносило течением.

— Уже собрали половину, — сказал Омар. — Второй год этим занимаюсь. Спешу — мне кажется иногда, что если я хоть на день остановлюсь, то просто не успею. У меня же самого

не так много времени было тогда, после аварии, чтобы решить, буду я жить дальше в полную силу или нет. Я решил быстро. И теперь тороплюсь дать другим детям возможность решить так же быстро, как я — а не годами сидеть и жалеть себя.

— Поплыли обратно, — сказал Омар, — а то остынем.

Оставшуюся часть дистанции они проплыли молча. У берега, когда все участники уже выходили на песок, отряхиваясь и переговариваясь, Омар вдруг замер на секунду, будто прислушиваясь к чему-то, чего не слышал никто вокруг.

— Пора идти, уже время, — сказал он, поднимаясь и отряхивая песок с ладони.

— Уже уходите? — спросил Халид, не ожидавший от себя этого вопроса.

— Дела не ждут, — улыбнулся Омар, пожимая ему руку. — Приходите завтра, если время будет. Народу соберётся больше — воскресенье всё-таки.

Он ушёл быстрым шагом вдоль берега, и когда Халид, натягивая футболку, снова поднял голову, чтобы посмотреть ему вслед, фигура Омара уже растворилась среди прибрежных построек — то ли завернул за угол, то ли смешался с толпой отдыхающих, но Халид, как ни всматривался, больше его не увидел.

Он взглянул на часы — было уже время зухра, полуденной молитвы. Тело гудело приятной усталостью, той особой тяжестью в мышцах, что не изматывает, а, наоборот, будто вычищает изнутри, оставляя после себя странное, почти забытое ощущение расслабления. Вместе с усталостью пришёл и голод — резкий, честный, тот самый голод, что бывает только после настоящей физической нагрузки, а не после сидения за монитором.

Он постоял ещё немного, глядя на воду, потом медленно пошёл домой, думая о том, как странно устроен человек, способный из собственной беды выстроить не стену, а мост — для тех, кому только предстоит пережить нечто похожее.

Халид постелил молитвенный коврик.

Глава 6

В воскресенье на набережную пришло куда больше народу, чем накануне — должно быть, весть о заплыве разошлась по городу за выходные, и теперь у столика регистрации выстроилась целая очередь: семьи с детьми, несколько спортивных клубов в одинаковых шапочках, старики, пришедшие просто посмотреть.

Омар стоял за тем же столиком, только теперь рядом с ним появился большой лист ватмана, разграфлённый под благодарственную таблицу. Увидев Халида, он широко улыбнулся и кивнул на лист.

— Вчера полдороги прошли, — сказал он. — Сегодня, если повезёт, закроем сбор целиком.

Халид отметил, как и накануне, и вошёл в воду вместе с остальными. Дистанция в этот день была длиннее — организаторы, воодушевлённые количеством участников, растянули маршрут до дальнего мыса и обратно, — и Халид, непривычный ещё к такой нагрузке после стольких лет без тренировок, почувствовал, как на середине пути начинают гудеть плечи. Но тело, как ни странно, справлялось: то ли помогала память старых тренировок, засевшая глубже, чем казалось, то ли просто вода в это утро была особенно спокойной, без единой волны.

Ближе к финишу его нагнал молодой парень лет двадцати, из тех, что стояли в клубных шапочках, — он старательно держался вровень, поглядывая на Халида с явным уважением, будто принял его за такого же профессионала, как Омар.

— Вы тоже в клубе тренируетесь? — спросил он, отфыркиваясь.

— Нет, — сказал Халид. — Просто плавал когда-то.

— Оно и видно, — сказал парень и, прибавив темп, ушёл вперёд.

Эта короткая фраза, брошенная мимоходом, отчего-то согрела Халида сильнее, чем следовало бы от такой мелочи. Он не помнил, когда в последний раз кто-то смотрел на него с уважением, замечал в нём что-то, чем можно восхититься, а не просто мимо проходил, как проходят мимо тихого, безобидного соседа по улице.

На берегу, когда все участники уже собрались, вокруг Омара собралась небольшая суeta совсем другого рода: две девушки с телефонами на стедикамах и один парень с настоящей камерой на плече — судя по всему, местные блогеры, снимающие сюжет для соцсетей, — обступили его полукругом, ожидая, пока он отдышится.

— Омар, скажи на камеру пару слов, — попросила одна из девушек, поправляя телефон. — Сколько в итоге собрали?

Омар, всё ещё мокрый, с полотенцем на плечах, повернулся к объективу с той же спокойной, без всякой наигранности улыбкой, с какой говорил и без камеры.

— За два дня мы собрали даже больше, чем планировали, — сказал он. — Комплекс будет построен. Первые дети смогут прийти туда уже следующим летом.

— А как Вы сами пришли к этой идее? — спросил парень с камерой, подступая ближе. — Расскажите для тех, кто не знает Вашу историю.

— Авария, десять лет назад, — сказал Омар всё так же просто, будто рассказывал это уже в сотый раз и давно перестал искать новые слова. — Тогда мне нужен был бассейн с поручнями и тренер, который умеет работать с протезом. Ничего такого рядом не было. Я добирался в Турцию три раза в неделю, два часа в один конец. Не все могут себе это позволить — ни по деньгам, ни по времени. Вот и решил сделать так, чтобы больше никому не пришлось так добираться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.